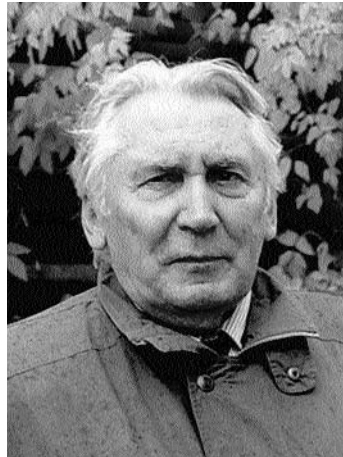

ВАЛЕНТИН СИДОРОВ,
народный художник России



ЭТЮДЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Нередица

Волнение охватило меня, как только открылась новгородская равнина, остались позади сопровождавшие всю дорогу с обеих сторон леса. словно распахнулась земля, показывая всю свою ширь. Она-то и определила характер человека, живущего на этом просторе, масштаб его деятельности, масштаб исторических событий. Какой простор! Ровнее горизонта, наверное, и не сыщешь. Лишь иногда пересекается он церковкой. Вон вижу синюю точку, наверное, Нередица.

Было раннее солнечное утро. Попутчик мой, которого я захватил на проселке, сворачивая с шоссе, оказался жителем Нередицы. Выходя из машины и пытаясь заправить голову гогочущего гуся в корзину, он указал мне на дом возле церкви, где жил сторож.

Негромко постучав в дверь и произнеся приветливое: “Есть ли кто дома?”, — почти сразу же в проеме отворившейся двери я увидел улыбающегося старика, который, как мне показалось, напряженно в меня всматривался.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Нельзя ли, дедушка, посмотреть Нередицу?

— Да сегодня суббота, выходной, закрыта Нередица, — говорит, а сам улыбается.

СИДОРОВ Валентин Михайлович родился в 1928 году в Тверской области. Закончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (Ленинград). Народный художник России, СССР. Лауреат Государственных премий СССР и РСФСР. Действительный член Российской академии художеств. Председатель правления Союза художников России

— Ну как же, дедушка? Я не знал, из Москвы специально приехал.
— Это хорошо. Нередицу посмотреть надо. Из многих городов сюда приезжают. Как же, как же, надо посмотреть Нередицу. Сейчас, погоди, ключи возьму.

Ключи были где-то рядом, и, взяв их, дед сошел с крыльца и направился к калитке своего огорода, за которым стояла церковь. Тропинка вела прямо к ней меж картофельных борозд. Я заметил, что дед, идя по тропинке, несколько раз как-то странно оступался, словно не видел ее. Дед уверенно подошел к двери храма, но не сразу определил, где замок, потом нащупал пальцами и открыл его. Только теперь я понял, что он слепой. Вошли в храм, в таинственную прохладу, торжественную тишину. На стенах сохранились еще местами древние фрески, с которых смотрели на нас святые лики.

— Вот, смотри: здесь — Преображение Господне, здесь — жёны-мироносицы, египетские столпники, а здесь — Страшный суд.

Слепой дед безошибочно показывал на стены с сохранившимися сюжетами.

— Чем больше смотришь, тем больше видишь! — произнес он, — мало только что осталось-то от фресок. Академик Грабарь их хвалил, говорил, что нигде таких нет. Во время войны наша Нередица сильно пострадала: и бомбы, и артиллерийские снаряды, и пули не щадили ее. Я, когда с фронту-то пришел, еще видел маленько. Дай, думаю, осыпавшиеся кусочки штукатурки с росписями в корзины сложу. Все по сюжетам сложил, целыми днями сидел. Бирочки к корзинам привязал: здесь — это должно быть, здесь — то. С детства все знал. Сколько корзинок-то у меня получилось — и не сосчитать! Сарай пришлось для них построить. Вот здесь, рядом с храмом, он и стоял. Думал тогда, а может, когда-нибудь кто сумеет собрать все, может, кто научится. Сейчас, говорят, Греков со своими студентами смог много собрать на Волотовом, разбирают по кусочкам завалы, а у меня-то все в корзинах и все по сюжетам.

— Ну вот, соберут Волотово, это же от вас недалеко, совсем рядом, а потом и за Нередицу, может, возьмутся, за Ваши корзины, — сказал я.

— Да где уж теперь! Корзины! Директору музея Маслову в третьем году осенью, когда картошку копали, корзины понадобились, он взял да и вывалил всё на землю, как попало, под гору. Я в госпитале тогда лежал. А то бы! Потом — дожди, снег. Пропала наша Нередица...

По молодости я тогда не спросил имени деда, но все время помнил о нем. И когда, много лет спустя, мои студенты поехали смотреть Нередицу, я попросил узнать, как же его звали. Его там все до сих пор помнят: Борис Васильевич Митрофанов.

Дед Митрий

Старик Митрий не знал, сколько ему лет, и когда я его спросил, услышал:

— Чай, много. Я тополь-то сажал за школой, когда ее открывали, а когда это было, не помню. Нас много было, мальчишек-то. Теперь, вот, никого не вижу.

Школа была открыта сто лет тому назад, она — ровесница Академической дачи, значит, и Митрию лет сто. Старик уже давно жил один, и только какие-то дальние родственники иногда приносили ему в кастрюльке что-нибудь поесть. Когда-то он работал ночным сторожем, и привычка ночью не спать у него сохранилась. Шаркает в валенках, посидит то возле школы, то возле магазина, то возле “потребилковки”, вздохнет и пойдет дальше. Я часто вписывал его фигуру в холст. Как-то Митрий встретил меня днем и спрашивает:

— Ты горя-то не видел?

— Что-что, дедушка? — не понял я.

— Горя-то, говорю, не видел?

— Всяко было.

— Встретишь когда, посылай ко мне. Мне уж теперь все равно, а тебе жить надо.

Марья

Писал вечерний этюд, прижавшись спиной к боковой стене избы деда Митрия, прямо возле окна, выходящего на огород. А за огородом почти сразу же начинался лес, покрытый нежным пухом первой зелени. Темные пятна редких елей делали его легким и прозрачным, а долгое вечернее солнце — теплым и розовым. Из леса доносилось гулкое кукование кукушки и журчание разлившегося ручейка. Щедрая кукушка всем обещала много лет жизни. Тихо было и как-то радостно.

Вдруг за стеной послышалось шарканье деда Митрия, он поднялся, наверное, со своего лёжева и заходил по избе то в одну сторону, то в другую, потом подошел к окну и с трудом открыл заскрипевшие старые створки:

— Марья, Марья, иди чай пить. Иди чай пить — самовар поспел, Марья! О, Господи!

И окно закрылось. Звал дед Митрий свою Марью, которая давно уже умерла. Много лет жил он совсем один.

И снова тишина, и снова кукушка отмеряет кому-то время.

Бык

В полдень, когда совхозное стадо пригнали на дойку, к скотному двору подъехал грузовик — он должен был взять быка и отвезти его на бойню. В совхозе решили поменять племя. Пятеро мужиков, давно ожидавшие машину, захопотали, засуетились, притащили откуда-то трап и стали прилаживать его к борту.

Черная лоснящаяся кожа быка каждый раз ложилась в толстую, словно сукно, складку, когда бык, вминая копытами сочную навозную землю, шел за скотником, поворачивая важно то вправо, то влево могучую голову. На лбу у него красовалось, словно расчесанное кем-то в разные стороны, кудрявое белое пятно-звездочка. Бык послушно шел, вращая покрасневшими белками больших навывкате глаз. Скотник, маленький мужичонка в спортивной кепочке с большим козырьком и больших, постоянно хлопающих кирзовых сапогах, вел его за цепь, пристегнутую к кольцу, висящему в толстой бычьей ноздре.

Он проворно вскочил в кузов, а бык, почуяв недоброе, внезапно перед трапом остановился. Скотник начал тянуть его изо всех сил, сапоги скользили по кузову — бык стоял как вкопанный. Один из мужиков стал бить быка метлой, откуда-то принесенной, она рассыпалась у него в руках сразу же. Другой притащил тесину из высохшей лужи и, сначала потолкав ею быка, хряснул по спине так, что тесина переломилась. Бык стоял.

— Вот, зверь-то, — разгорячился один. — Вот, скотина, щас я тебя уделаю!

Сказал и куда-то побежал. Вернулся он с ременным кнутом — взял у конюха.

— А ну, падла!

Отошли мужики в сторону, лишь один скотник все елозил в своих сапогах и тянул быка за цепь что есть мочи. Свистящий удар кнута оставил на спине резкий черный след, бык вздрогнул, но остался на месте. Удары следовали один за другим — бык стоял, только кожа его покрывалась темными рубцами да краснели глаза.

— Вот, гадина-то, вот, зверь-то, вот, скотина!

Скоро мужик умаялся, снял с мокрой головы кепку, обнажив белую, незагорелую лысину, и, утирая такой же белый, незагорелый лоб, отошел в сторону, присел на корточки отдышаться, достал “Беломор”. Присели и другие, закурили. Умаявшись, скотник тоже присел на борт.

— Щас получишь, гад! Щас я тебя уделаю, — ворчал мужик. — Погоди! Щас по глазам ты у меня получишь! Вот ведь, скот-то!

Затянулся глубоко, сплюнул и хотел было встать, но вдруг бык решительно зашагал по трапу, скотник едва успел бросить цепь и выпрыгнуть из кузова, мужики повскакали и бросились откидывать трап и закрывать борт. Машина будто задрожала, посыпалась сухая грязь. Бык, войдя в кузов, не сделал более ни одного движения.

— Вот ведь зверюга, — в недоумении стояли мужики, — вот ведь, гад, всех умаял, скотина!

Крест

На погосте села стояла деревянная шатровая церковь. Среди старых берез она была центром птичьего царства, здесь всегда происходили у галок, ворон и скворцов какие-то важные события, и их ор слышался издалека. То ли крик их надоел председателю сельсовета, то ли не терпелось ему довести антицерковную кампанию до конца, то ли показать свою “образованность” народу хотел, только решил он эту церковку ликвидировать и начал со снятия креста.

— Витек, а ну, давай, бери топор, заберись и стяпай. Бутылка твоя.

— Одной мало, Николай Васильевич, чай, ребят надо просить подстраховать, а то свалишься. Веревки сколько надо!

— Беги в селпо, бери веревки, зови ребят и залезай — две получишь.

— Нет, тут, пожалуй, Николай Васильевич, без трех не обойдешься.

— Ну, ладно, три получишь, только давай скорей, не тяни! Топор вон у меня возьми острый, вчера наточил.

Позвал Витек Валеру да Леху (головы у них со вчерашнего дня болели, лечить надо).

Из селпо принесли моток веревки, сообразили, как ее использовать, как перекинуть, за что привязать, приладить. Приладив, Витек заткнул за ремень топор, нашел выход к крыше и полез. Крепкое еще дощатое покрытие его держало. Вот и основа креста. Витек изловчился, держась за веревку, потянулся за топором, чтоб вытащить его из-за ремня, и вдруг слышит голос:

— Не смей! Не смей!

Посмотрел вниз — думал, кто снизу крикнул.

Ребята машут руками, кричат: “Давай, давай!”

Вытащил топор и замахнулся было. Опять голос: “Не смей, не смей!”

— Чего вы там? — кричит вниз ребятам.

— Давай, давай!

— А чего ж орете?

— Мы не орем, ждем, давай скорее, ноги уже застыли.

И тянул Витек по основе креста, вытесанного из лиственницы. Дерево было как новое. Звон раздался. Галки закричали и стаями заметались над погостом. Тяпал он недолго, топор был острый. Вот вздрогнул крест, начал медленно поворачиваться, словно прощаясь, и, ломая сучья, рухнул.

Внизу уже Леха открывал зубами белую головку бутылки. В кармане у него оказалось три зеленых яблока да три конфетки-подушечки. Веревку, как петлю, накинутую на колоколенку, так и оставили болтаться. К кресту никто не подошел, лежал он в стороне, уткнувшись в землю.

— Ну и натерпелся я, сапоги-то скользят. А чего кричали-то: “Не смей, не смей!”

— Ты чего, мы не кричали, мы кричали: “Давай, давай скорей!” — застыли, холодога-то какая, да башка болит.

Домой Витек пришел поздно, пьяный.

— Что же ты, опять набрался! Где же тебя леший-то гонял с топором? Петуха ведь надо было зарубить — у Нюрки праздник, с пустыми руками, что ль, пойдем?

— Я и рубил, — буркнул Витек, извлекая из-за пояса топор.

— Чего ты рубил?

— Крест рубил на церкви — председатель просил.

— Да ты что, спятил? Никто не вразумил тебя, дурака!

Оставив топор на крыльце, Витек отправился в свой угол под старую овчинную шубу. Утром мать не могла его добудиться. Бросила только: “Я на лодке с соседями к Нюрке отправлюсь, а ты проспайся — сам приплывешь”.

На той стороне озера в деревне жила сестра Нюрка, а у них престольный праздник — Ильин день. Все, у кого там были родные, шли и плыли туда.

В доме было тихо, слышались только часы, отмеряющие секунды. Пропавшись, Витек поел, что было под рукой, взял весла и отправился на берег к своей лодке, быстро освободил цепь от замка и оттолкнул лодку от берега. Озеро было спокойно и, как зеркало, отражало всю синь августовского неба. Взмах весел, другой, третий. Лодка быстро шла к середине. Голова болела так, будто в ней кошки скреблись. Решив омыть ее, Витек оставил весла и потянулся трясущимися руками к холодной воде. Дальше все произошло мгновенно. Лодка перевернулась, и недолго барахтался в воде с вытаращенными глазами Витек. Его нашли на третий день, а когда хоронили, пронесли мимо лежавшего на земле креста.

Колокол

В центре Подола, возле “потребиловки”, старого амбара, где когда-то колхозники получали “на трудодни”, напротив казенного дома — дома лоцмана — висел на высокой перекладине и двух столбах старый колокол. К едва видневшемуся из-за крутых его краев языку была прикручена проволока. Тонкой ломаной чертой она жестко рисовалась на небе. Колокола давно уже не было слышно, и о его предназначении стали забывать. Я часто проходил мимо, крутился возле, останавливался в надежде уловить “искру”, пытаюсь почувствовать, найти мысль, пока скрытую. Но, увы! Сколько ни приходил, колокол с отколотым острым краем для меня молчал.

Как-то я спросил Ксению Михайловну Вершинину, к которой приходил обедать:

— А что у колокола край-то отбит?

И, неожиданно тяжело вздохнув, она рассказала мне о своей боли, которая не оставляет ее вот уже много лет.

“Это память моя о Володе. Каждый раз, когда прохожу мимо, сердце так и защемит. Володя мой десятый класс окончил, хотел в институт ехать поступать, к экзаменам готовился в своей сараюхе да конструировал там приемник с наушниками. Тогда модно было, все ребята мастерили. Вот он в сараюхе-то этой и паял. Я-то с хозяйством чего-то дома осталась, на сенокос не поехала. Вдруг вбегает Володя в избу и, захлебываясь:

— Мам, война! Германия сегодня напала на нас, города бомбят, бои идут.

— Да что ты, сынок! Какая война?

— Да иди, послушай по радио, я волну поймал. Война, мам!

— Да неужто? Батюшки, сынок, что-то делать надо, народ собирать. Все на сенокосе. В колокол надо бить, народ звать. Давай, сынок, беги, бей! Бей-то чаще, а то не поймут!

Схватив где-то кусок водопроводной трубы, Володя-то и побежал к колоколу. Колокол давно у нас висел. То на сход, то на собрание ударяли в него. Из церкви, когда разоряли, привезли. Володя-то и начал бить, бить часто, как на пожар. Скоро подъезжать с полей начали, кто верхом, кто на телегах, а другие — помоложе — просто бежали — думали, пожар, горим — бывало такое. А тут беда страшней — война. Бил Володя-то трубой, бил, долго бил, всё старался ударить посильней, чтоб погромче. Колокол-то и треснул. Кусок его, острый клин, и отлетел. Когда Володя-то мой пришел домой да и сказал мне об этом, екнуло что-то.

— Ой, сынок, примета нехорошая, что-то будет!

На третий день Володю призвали, а через месяц пришла похоронка. Вот каждый раз, как прохожу мимо, и щемит сердце.

После рассказа Ксении Михайловны колокол стал привлекать мое внимание еще больше. Белой ночью пошел как-то посмотреть “потребиловку”, возле которой всегда сидел столетний дед Митрий. Был затеян сюжет с ночным сторожем. По дороге подошел к колоколу. На предзвездном небе с едва видневшимися у самого горизонта мелкими облачками, над туманной тишиной лугов, где пались лошади, четко вырисовывался силуэт колокола с жесткой тонкой линией проволоки, еще более подчеркивавшей хрупкость мира...

Школа

Летом, когда не было занятий, мне разрешали писать картины в старой деревянной школе Подола. Как-то в дверь постучали. На улице был проливной дождь. Я открыл. Передо мной стоял полковник — летчик, весь в орденах.

— Пустите погреться, пожалуйста. Мне в Липовец надо, а автобуса почему-то нет.

— Конечно, заходите.

Вошел.

— Я ведь в этой школе учился, — сказал он, входя в класс. — Батюшки, ничего не изменилось. Вот и моя парта. Все, как было: и шкаф наш старенький, и доска с занавесочкой, и печка та же. Бывало, обступим ее — руки, ноги греть. Пока идешь из Липовца шесть километров, застынешь, вымокнешь другой раз. Чудное было время! Ватагой ходили, наозорешься дорогой-то, весело было. Это потом в колхозе стали лошадей давать.

Он прошел, сел боком за свою парту.

— Тут должно быть вырезано: “Лиза”.

Открыл крышку, на которой и впрямь за многими слоями масляной краски ясно читалось: “Лиза”.

— Антонина Васильевна у нас по-французски говорила, окончила Институт благородных девиц в Петербурге — последний выпуск в восемнадцатом году. Всю жизнь здесь проработала. Сейчас-то не знаю, жива ли.

— Жива, — говорю, — жива, иногда приходит в школу посидеть, но не работает уже — на пенсии.

— Тогда ведь в нашей школе двести человек было, в две смены учились. А сколько же теперь учеников?

— Пятеро.

Виктор Павлов

Чуть забрезжил рассвет — глухой, нерешительный стук в дверь. Открываю, ворча. Виктор Павлов с серым лицом: “Помоги, Михалыч, дай чего-нибудь глоток, умираю”.

— Вить, бросай, на тебе ведь лица нет, и впрямь помрешь, что ты!

— Не могу, скорей дай, Христа ради!

Бегу на кухню, ищу в холодильнике бутылку, наливаю, хватаю кусок хлеба на закуску.

— Вить, не пей больше, кончай, хватит!

Дрожащие руки не в силах совладать со стаканом. Плачет, зубами со скрежетом берет за край стакан и, обливаясь, выпивает, что не расплескалось. На хлеб и не смотрит, по сморщенному лицу с растерянным взглядом — слезы, молчит, надо отдышаться.

— Ну, хоть не бомбили бы больше, — произносит он после долгого молчания. — Ведь все разбомбили, все разворовали, и все воруют, и все бомбят. Я ведь эту кузню сам всю сладил — и горн, и станок токарный привез, всей деревней деньги собирали, сколько лет — всю жизнь он служил всем! А они вчерась за станком приехали, я — не пускать:

— Отойди, а то прибьем!

Ворочали, ворочали, погрузили на полуполторку, повезли. Сашка, сын, приехал на велосипеде, говорит, на повороте-то станок занесло, борт сломался, и он грохнулся об асфальт. Его ведь теперь выбросить, загубили! Хуже войны. Вошел в кузню — ничего не осталось, как после бомбежки, все растащили, все разворовали, даже прутья унесли...

Храм

В Борисоглебе, у входа в храм, на паперти, на принесенном откуда-то стуле сидела пожилая женщина. Двери храма были открыты, и я вошел.

Войдя, увидел поставленные по всем стенам для реставрации леса. Из них трудно было смотреть фрески, и, естественно, я спросил у этой старушки:

— А когда же их снимут-то?

— Да когда начнут реставрацию-то, еще неизвестно. Вот леса поставили, и стоят они который год, а купол-то течет, и леса-то все мокрые. Я вот сушу, открываю дверь, чтоб сырости меньше было, а то грибок может, не дай Бог, завестись, и погибнут тогда фрески. А когда придут реставраторы, никто не знает. Вот и сижу каждый день — сушу храм.

— Так сколько же Вы сидите-то?

— Да третий год уже, на ночь-то закрываю.

— А Вы что, смотритель, что ль, сторож?

— Да какой сторож! Здесь нет никого, а я живу рядом. Жалко, вот каждый день и прихожу, и в солнце сижу, и в дождь — ведь фрескам дышать надо, а то — грибок. Беда!

— Как же Вас зовут, бабушка?

— Карасева я, Катерина Ивановна. Мы эвакуировались во время войны сюда из Ленинграда, да так и остались здесь. А теперь куда ехать? У меня храм, его не бросишь.

Японка

На краю Коровина, на горушке, почти у самых въездных ворот, стояла избушка в два окошка с голубыми ставенками. Эти ставенки делали домик совсем игрушечным. В этом игрушечном домике жила старушка, которую все звали Японкой. Японка, Японка. Бабушка проявляла к этой Японке какое-то внимание особое, не такое, как к другим, она ее жалела и постоянно навещала, а нас часто просила сбегать к Японке, отнести ей что-нибудь — пирожков ли, плюшек, оладушек.

Японка действительно была из Японии, и привез ее в тверскую глухомань коровинский мужик Иван Крушихин, который был в солдатах и принимал участие в Цусимской кампании, в Порт-Артуре. Оттуда он вернулся с невестой. У Никиты-мученика их повенчали, и были они — “не разлей вода”. Иван работал один, на руках ее носил, сам даже корову доил. Но случилась беда: по весне, переправляясь через Волгу, Иван вместе с лошастью утонул — лед провалился. Японка осталась одна и всю жизнь, до глубокой старости, прожила в Коровине. Относились все к ней так же, с каким-то особым чувством сострадания, как Богом обиженной. Маленькая опрятная старушка всегда улыбалась, никто никогда не видел ее плачущей. Бабушка говорила, что Японка почти каждый день выходит на задворки своего огорода встречать восходящее солнце.

.....

В мае исполняется 80 лет со дня рождения замечательного русского художника Валентина Михайловича Сидорова. Он родился недалеко от Волги, и красота русской природы, с детства окружавшей его, навсегда пленила будущего художника. Правда природы и правда русского характера — несомненные достоинства и прозы замечательного художника. Публикуя его выразительные зарисовки, редакция журнала сердечно поздравляет нашего давнего друга со славным юбилеем.

*Здоровья, новых свершений, долгих лет жизни Вам,
дорогой Валентин Михайлович!*